

**С.Н. Булгаков**

# **Тихие думы**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 291  
ББК 86.3  
С11

С11 **С.Н. Булгаков**  
Тихие думы / С.Н. Булгаков – М.: Книга по Требованию, 2018. – 208 с.

**ISBN 978-5-458-56638-4**

**ISBN 978-5-458-56638-4**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2018

© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2018

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



## Русская трагедія.

(1914)

Хотя Достоевскій не написалъ ни одной страницы въ драматической формѣ, тѣмъ не менѣе въ своихъ большихъ романахъ по существу дѣла онъ является и великимъ трагикомъ. Это выступаетъ съ полной очевидностью при сценической постановкѣ его романовъ, особенно же съ такими средствами, какъ московскаго Художественнаго театра, который постановками „Братьевъ Карамазовыхъ“ и „Бѣсовъ“ содѣйствовалъ выявленію лица трагика въ Достоевскомъ. Что есть трагедія по внутреннему смыслу?

Какъ художественная форма, она должна удовлетворять требованіямъ, устанавливаемымъ литературнымъ канономъ (каковы, напримѣръ аристотелевское единство мѣста, времени и дѣйствія); по внутреннему же смыслу ходъ и развитіе трагедіи опредѣляется не человѣкомъ съ его личной драмой въ его эмпирической, бытовой, временной оболочкѣ, но надчеловѣческимъ, сверхчеловѣческимъ (или, вѣрнѣе, ноуменально-человѣческимъ) закономъ, нѣкимъ божественнымъ фатумомъ, который осуществляетъ свои приговоры съ неотвратимой силой. Онъ, этотъ божественный законъ, и есть подлинный герой трагедіи, онъ раскрывается въ своемъ значеніи Провидѣнія въ человѣческой жизни, вершитъ на землѣ свой страшный судъ и выполняетъ свой приговоръ. Содержаніе трагедіи есть поэтому внутренняя закономерность человѣческой жизни, осуществляющаяся и раскрывающаяся съ полной очевидностью при всякой попыткѣ ее нарушить, отклониться отъ ея орбиты.

Отсюда—возвышающій, а вмѣстѣ и устрашающій характеръ трагедіи: и нѣкая высшая обреченность ея героевъ, и непререкаемая правда этой обреченности.

Трагедіей въ указанномъ смыслѣ, несмотря на отсутствіе внѣшней драматической формы, являются и „Бѣсы“. Уже въ первыхъ его аккордахъ слышится неотвратимый приговоръ, предначертывается неизбежная гибель героевъ во взаимной сплетенности ихъ судебъ. Привычный масштабъ, по которому часто судятъ и рядятъ о „Бѣсахъ“, есть политическая расцѣпка политическихъ тенденціи этого романа. Одни цѣнятъ въ немъ глубокое и правдивое изображеніе русской революціи, прямое пророчествованіе о ней, удивительно предвосхитившее многія и многія черты подлинной, лишь черезъ четверть вѣка пришедшей русской революціи; другіе ненавидятъ „Бѣсы“ какъ политическій пасквиль на эту же революцію, въ ихъ глазахъ тенденціозный и вредный; это впечатлѣніе усиливается отдѣльными чертами карикатуры и шаржа, неоспоримо имѣющимися (въ образахъ Кармашинова, отчасти Степана Федоровича, отдѣльныхъ персонажей изъ революціонеровъ и под.). Нельзя отрицать, что роману, точнѣе, ихъ автору, свойственны извѣстныя политическія тенденціи, которыя могутъ быть развернуты и въ цѣлое политическое міровоззрѣніе; здѣсь просвѣчиваютъ политическія симпатіи и антипатіи, обнаруживающіяся полнѣе въ „Дневникъ писателя“. Вѣдь и древніе трагики, какъ, напри- мѣръ, Эскиль, тоже имѣли свои политическія мнѣнія и настроенія, которыя ощущались ихъ современниками. Однако какъ жалокъ былъ бы тотъ грекъ, который сталъ бы уничтожать трагедію Эскила за „черносотенство“ ея автора, и такимъ же вандализмомъ представляется намъ теперь на вѣсахъ политической партійности взвѣшивать творчество Достоевскаго. Ибо, если Достоевскій, дѣйствительно, прозиралъ въ жизни ея трагическую закономерность, тогда ужъ навѣрное можно сказать, что не политика, какъ таковая, существенна для этой трагедіи и есть въ ней самое важное. Политика не можетъ составить основы трагедіи, міръ политики остается внѣ трагическаго, и не можетъ быть политической трагедіи въ собственномъ смыслѣ слова. Политическія цѣнности относятся къ міру феноменальнаго, временнаго, производнаго, трагедія же стремится проникнуть всегда къ сверхвременному, глубинному, ноуменальному, хотя, конечно, извнѣ она можетъ облекаться хотя бы и въ политическія формы. И политика въ „Бѣсахъ“ есть нѣчто произ-

водное, а потому и второстепенное. Не въ политической инстанціи обсуждается здѣсь дѣло революціи и произносится надъ ней приговоръ. Здѣсь иное, высшее судьбище, здѣсь состязаются не большевики и меньшевики, не эсдеки и эсэры, не черносотенцы и кадеты. Нѣтъ, здѣсь „Богъ съ дьяволомъ борется, а поле битвы—сердца людей“, и потому-то трагедія „Бѣсы“ имѣетъ не только политическое, временное, преходящее значеніе, но содержитъ въ себѣ зерно безсмертной жизни, лучъ немеркнущей истины, какъ и всѣ великія и подлинныя трагедіи, тоже беруція для себя форму изъ исторически ограниченной среды, въ опредѣленной эпохѣ. Въ этомъ смыслѣ, хотя по внѣшности „Бѣсы“ какъ будто и представляютъ собой страницу изъ политической исторіи Россіи, въ дѣйствительности произведеніе это къ ней вовсе не приурочено, остается отъ нея свободно и надъ нею возвышается. Это отнюдь не есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, историческій, „реалистическій“ романъ изъ исторіи русской революціи, даже не есть ея „Война и Миръ“, гдѣ нѣкоторое психологическое созерцаніе связано съ историческою эпохой, содержится историческое прозрѣніе. Романъ „Бѣсы“, какъ и все вообще творчество Достоевскаго, принадлежитъ къ искусству символическому, причѣмъ символика его только внѣшне прикрыта бытовою оболочкой, онъ реалистиченъ лишь въ смыслѣ реалистическаго символизма (по терминологіи Вяч. И. Иванова); здѣсь символизмъ есть восхожденіе а *realibus ad realiora*, постиженіе вышнихъ реальностей въ символахъ низшаго міра. И этотъ характеръ своего творчества сознавалъ и самъ Достоевскій, когда писалъ о себѣ въ своей записной книжкѣ: „Меня зовутъ психологомъ: неправда, я лишь реалистъ въ высшемъ смыслѣ, т.-е. изображаю всѣ глубины души человѣческой“ \*) Своими корнями душа человѣческая уходитъ въ міръ иной, божественный, и реализмъ Достоевскаго простирается поэтому не на человѣческій только, но и на божественный міръ, т.-е. является символизмомъ.

Итакъ, „Бѣсы“ есть символическая трагедія. Но въ то же время это существенно есть и русская трагедія, изобра-

---

\*) „Биографія О. М. Достоевскаго, письма и замѣтки“. Спб., 1883 г., стр. 372.

жающая судьбы именно русской души. Говоря частнѣе, это есть трагедія русской интеллигенціи, опредѣленнаго духовнаго уклада личности. Для Достоевскаго, также какъ и для насъ, прислушивающихся къ его завѣтамъ, русская трагедія есть по преимуществу религіозная,—трагедія вѣры и невѣрія. „Вѣрую, Господи, помоги моему невѣрію“,—вотъ что и въ жизни и въ творчествѣ Достоевскаго, а въ частности, и въ „Бѣсахъ“, молитвеннымъ и покаяннымъ воплемъ вырывается изъ его души. Для него есть только одна правда жизни, одна истина—Христось, а потому и одна трагедія—не вообще религіозная, но именно христіанская. Стремленіе ко Христу, безсиліе быть съ Нимъ и борьба съ Нимъ бушующаго своеволія—вотъ ея предустановленное содержаніе. Извѣстно біографически, что Достоевскій намѣчалъ себѣ написать книгу о Христѣ, какъ завершеніе своего жизненнаго дѣла; то была, такъ сказать, литературная проекція всѣхъ его религіозныхъ устремленій, мыслей и чувствъ. Думается, что никогда бы не написалъ онъ этой книги, ибо такія книги вообще не пишутся, это выходитъ за предѣлы литературы, міра книгъ. Зато можно сказать, что всѣ имъ написанныя книги, въ сущности, написаны о Христѣ, и развѣ же онъ могъ писать о чемъ-либо иномъ, кромѣ какъ о Немъ, Его познавъ и Его возлюбивъ? Ибо любовь ко Христу въ Достоевскомъ, какъ и въ его герояхъ, тверже и несомнѣннѣе даже, чѣмъ самая вѣра въ Него. И книга „Бѣсы“, какъ ни парадоксально звучитъ это, написана о Христѣ, любимомъ и желанномъ русской душою, о русскомъ Христѣ, и о борьбѣ съ Нимъ, о противленіи Ему—объ антихристѣ, и тоже о русскомъ антихристѣ. Вышнимъ образомъ объ этомъ достаточно свидѣтельствуетъ и эпиграфъ къ роману; взятый изъ евангельскаго разсказа объ исцѣленіи гадаринскаго бѣсноватаго. Русскій Христось—вотъ настоящій, хотя и незримый, непооявляющійся герой трагедіи „Бѣсы“, только Онъ властенъ изгнать „бѣсовъ“, силенъ исцѣлить бѣсноватаго. Въ средніе вѣка сценическія представленія, въ которыхъ дѣйствующими лицами являлись Христось и святые, носили названіе мистерій, и въ этомъ смыслѣ и „Бѣсы“ есть мистерія. Однако „Бѣсы“ имѣютъ право на это названіе не только въ литературно-историческомъ смыслѣ, въ нихъ есть предначатокъ той священной и трепетной подлинности, ка-

кой должна явиться чаемая и желаемая в душах грядущая мистерія—богодѣйство. И этотъ мистеріальный характеръ трагедіи Достоевскаго со всей силой ощущается и при постановкѣ ея въ Художественномъ театрѣ: чувствуется, что это не обычное представленіе для „развлеченія“ жадной до зрѣлищъ театральной публики, но нѣчто, уже на границѣ сценическаго искусства стоящее, его перерастающее. Подлинная мистерія не можетъ быть только зрѣлищемъ, она обязываетъ ко многому, не позволяя зрителю оставаться пассивно-эстетическимъ созерцателемъ, какъ и актеру—только лицедѣемъ; роль только зрителя или только актера кажется уже кощунственной, и словно теургическій трепеть пробѣгаетъ по залѣ... Въ этихъ высшихъ достиженіяхъ сцены сильнѣе всего сказывается ея условность, искусственность и даже ограниченность искусства, поскольку оно остается отвлеченно-эстетическимъ. Ибо не объ этомъ искусствѣ произнесъ Достоевскій свое пророчество: „красота спасетъ міръ“. Міръ спасетъ не театральная, не эстетическая красота,—сама она цѣнна и важна, лишь пока зоветъ къ этой спасающей красотѣ, а не отвлекаетъ отъ нея, не завораживаетъ, не обманываетъ.

Трагедія Достоевскаго называется „Бѣсы“. Силы зла, а не добра владѣютъ въ ней русской душой, не Спаситель, но искуситель, имя которому—„легионъ“, потому что насъ много,—само многоликое зло. Религіозная природа не терпитъ пустоты; и разъ душа пробудилась для Бога и, однако, не въ силахъ родиться къ новой жизни, обрѣсти въ Богѣ свое подлинное я, она дѣлается личиной самой себя, игралищемъ злой силы. Въ этой одержимости она теряетъ свое естественное равновѣсіе, до пробужденія инстинктивно поддерживавшееся въ ней природой; какъ гадаринскій бѣсноватый, она „живетъ не въ домѣ, но во гробахъ“, мучимая и сотрясаемая въ изступленіи и бунтѣ. Она становится медіумомъ злой силы, сама даже не будучи злой, и не убѣждаемая, но принуждаемая ею къ покорности. Это уже не есть состояніе религіозной непробужденности или слѣпоты, напротивъ, зрячесть обострена здѣсь до чрезвычайности. Не достаетъ здѣсь не знанія, но волевого, жизненнаго самоопредѣленія. Въ Евангеліи бѣсы неизмѣнно узнаютъ Христа раньше людей, но что же говорить они Ему? „Что Тебѣ до меня, Ии-

сусь, Сынъ Бога Всевышняго? Умоляю Тебя, не мучь меня“ (Лук. 8, 28). Тотъ, Кто есть сама Радость, Кто говорилъ Своимъ ученикамъ: „радость Моя въ васъ пребудеть и радость ваша будетъ совершенна“ (Иоан. 14, 10),—Онъ мучитъ Собою духовъ зла и ими одержимыхъ. Такое состояніе мученія о Христѣ переживаютъ и главные герои „Бѣсовъ“. „Меня всю жизнь Богъ мучилъ“, говоритъ Кирилловъ и, въ дѣйствительности, не о себѣ только, но и о Шатовѣ, Ставрогинѣ, о Ѳедкѣ даже и объ остальныхъ дѣйствующихъ лицахъ, которымъ суждена роль гадаринскихъ свиней, т.-е. слѣпыхъ орудій злой силы. Одержимость,—какая-то странная медіумичность,—дѣйствительно, есть главная черта героевъ „Бѣсовъ“. Всѣ они въ мучительномъ параличѣ личности. Она словно отсутствуетъ, кѣмъ-то выѣдена, а вмѣсто лица—личина, маска. Лицо Ставрогина, центрального героя „Бѣсовъ“, не только напоминало маску, но, въ сущности, оно и было маской. Загадочной и почти непреодолимой трудностью для инсценировки „Бѣсовъ“ является это отсутствіе живого Ставрогина, его личинность. Ставрогинъ есть герой этой трагедіи, въ немъ ея узелъ, съ нимъ связаны всѣ ея нити, къ нему устремлены всѣ чаянія, надежды и вѣрованія, и въ то же время *его нѣтъ*, страшно, зловѣще, адски нѣтъ, нѣтъ вовсе не постольку, поскольку онъ не удался автору или исполнителю, но именно поскольку удался. Достоевскій зналъ, чего хотѣлъ, точнѣе, зналъ это его мистическій и художественный геній. Ставрогина нѣтъ, ибо имъ владѣетъ духъ небытія, и онъ самъ знаетъ о себѣ, что его нѣтъ, отсюда вся его мука, вся странность его поведения, эти неожиданности и эксцентричности, которыми онъ хочетъ какъ будто самого себя разубѣдить въ своемъ небытіи; а равно и та гибель, которую онъ неизбежно и неотвратимо приносить существамъ, съ нимъ связаннымъ. Отъ него останется лишь психологическій скелетъ, <sup>1</sup>—железная воля, темпераментъ, безстрашіе и даже авантюристское исканіе опасности, какъ остраго впечатлѣнія, но духъ его „связанъ“ цѣпами и узами, и въ немъ живетъ „легионъ“. Какъ возможно такое изнасилованіе свободнаго человѣческаго духа, образа и подобія Божія, что такое эта одержимость, эта черная благодать бѣсноватости? Однако не соприкасается ли этотъ вопросъ съ другимъ вопросомъ, именно о томъ, какъ

дѣйствуетъ исцѣляющая, спасающая, перерождающая, освобождаящая благодать Божія, какъ возможно искупленіе и спасеніе? какъ возможно обоженіе? прощеніе грѣховъ, которые становятся какъ бы не бывшими? Здѣсь мы подходимъ къ самой глубокой тайнѣ въ отношеніяхъ между Богомъ и человѣкомъ, и сатана, который есть обезьяна Бога, плагиаторъ и воръ, съѣтъ и свою черную благодать, связывая, парализуя человѣческую личность, которую освобождаетъ только Христось. „И пришедши къ Іисусу, нашли человѣка, изъ котораго вышли бѣсы, сидящаго у ногъ Іисуса, одѣтаго и въ здоровомъ умѣ“ (Лук. 8, 35). Медиумичность, женственная рецептивность, параличъ мужского начала Логоса отличаютъ Ставрогина, какъ и большинство дѣйствующихъ лицъ въ „Бѣсахъ“. Къ слову сказать, въ современной литературѣ есть писатель, который въ художественномъ постиженіи именно медиумичности души иногда приближается къ Достоевскому, это—Андрей Бѣлый. Въ „Серебряномъ Голубѣ“, а равно и въ „Петербургѣ“ съ огромной силой и поразительнымъ ясновидѣніемъ изображено это медиумическое состояніе души, ея одержимость темными силами изъ иныхъ „плановъ“ бытія, иныхъ міровъ. „Петербургъ“ оказывается какъ бы прямымъ продолженіемъ „Бѣсовъ“ и это тѣмъ болѣе поразительно, что, очевидно, чуждо преднамѣренности. Однако въ творествѣ А. Бѣлаго (какъ и сроднаго ему духовно Гоголя) до сихъ поръ отсутствуютъ тѣ именно черты творчества Достоевскаго, которыя позволяютъ признать его романы (не исключая и „Бѣсовъ“) „книгою о Христѣ“; по крайней мѣрѣ, до сихъ поръ этого нельзя сказать объ авторѣ „Серебрянаго Голубя“ и „Петербурга“. Думается, что и будущее его зависить отъ того, найдетъ ли онъ спасеніе отъ пронизывающихъ его душу вихрей, отъ ихъ „легіона“ „у ногъ Іисусовыхъ“. Но возвратимся къ „Бѣсамъ“.

Ставрогину, этой личинѣ небытія, принадлежитъ центральное мѣсто въ романѣ, въ него всѣ почти болѣе или менѣе влюблены, и мужчины, и женщины, съ нимъ связываются лучшія надежды и мечты, у cadaго свои,—и только вѣщая Хромоножка, этотъ медиумъ Добра, изъ „сновъ“ своихъ узнаеть страшную тайну о томъ, что онъ самозванецъ, личина, скорлупа, что его нѣтъ, и этотъ судъ Хромоножки, или высшей силы, черезъ нее гласящей, оконча-

тельно рѣшаетъ судьбу Ставрогина: послѣ него онъ (какъ Иванъ Карамазовъ въ разговорѣ съ Смердяковымъ объ убійствѣ отца) внутренно соглашается на убійство Хромоножки. Епископу Тихону (см. приложение къ „Бѣсамъ“) Ставрогинъ признается, что къ нему (какъ и къ Ивану Карамазову) приходитъ бѣсъ.

„Тихонъ посмотрѣлъ вопросительно.—И... вы видите его дѣйствительно... видите ли вы въ самомъ дѣлѣ какой-нибудь образъ?

Странно, что вы объ этомъ спрашиваете, тогда какъ я уже сказалъ вамъ, что вижу... разумѣется, вижу, вижу такъ, какъ васъ“...

Но вотъ что важно, это—тотъ вопросъ, которымъ выдать себя при этомъ Ставрогинъ: „а можно ли вѣровать въ бѣса, не вѣруя совсѣмъ въ Бога?“—„О, очень можно, сплошь и рядомъ“, былъ отвѣтъ Тихона, и это былъ отвѣтъ о Ставрогинѣ. Въ томъ состояніи одержимости, въ какомъ находится Ставрогинъ, онъ является какъ бы отдушиной изъ преисподней, черезъ которую проходятъ адскія испаренія. Онъ есть ни что иное, какъ орудіе провокаціи зла. Въ романѣ Достоевскаго художественно поставлена эта проблема провокаціи, понимаемой не въ политическомъ только смыслѣ, но въ болѣе существенномъ, жизненно-религіозномъ. Ставрогинъ есть одновременно и провокаторъ, и орудіе провокаціи. Онъ умѣетъ воздѣйствовать на то, въ чемъ состоитъ индивидуальное устремленіе даннаго человѣка, толкнуть на гибель, воспламенивъ въ каждомъ его особый огонь, и это испепеляющее, злое, адское пламя свѣтитъ, но не согрѣваетъ, жжетъ, но не очищаетъ. Вѣдь это Ставрогинъ прямо или косвенно губитъ и Лизу, и Шатова, и Кириллова, и даже Верховенскаго и иже съ нимъ, причемъ въ дѣйствительности губитъ не онъ, но *оно*, то, что дѣйствуетъ въ немъ, черезъ него и помимо него. Каждаго изъ подчиняющихся его вліянію обманываетъ его личина, но всѣ эти личины—разныя, и ни одна не есть его настоящее лицо. Онъ одновременно возбуждаетъ душевную бурю въ Шатовѣ и внушаетъ Кириллову его бредъ, рыцарски-капризно женится на Хромоножкѣ и участвуетъ въ садистскомъ обществѣ, растлѣваетъ ребенка, чтобы не говорить уже объ остальномъ. Такъ и не совершилось его исцѣленіе, не изгнаны были

бѣсы, и „гражданина кантона Ури“ постигаетъ участь гадаринскихъ свиней, какъ и всѣхъ, его окружающихъ. Никто изъ нихъ не находитъ полнаго исцѣленія у ногъ Иисусовыхъ, хотя иные (Шатовъ, Кирилловъ) его уже ищутъ, но... „Но,—говоритъ Ставрогину еп. Тихонъ,—полный атеизмъ не только почтеннѣе свѣтскаго равнодушія, но совершенный атеистъ стоитъ на *предпослѣдней* верхней ступени до совершенной вѣры (тамъ перешагнетъ ли ее, нѣтъ ли), а равнодушный никакой вѣры не имѣетъ, кромѣ дурного страха“. Здѣсь, какъ и въ другихъ романахъ, Достоевскій старается проникнуть въ глубину „совершеннаго атеизма“, того религіознаго отчаянія, изъ котораго трагически родится (или же такъ и не родится) вѣра. *Христось или гадаринская бездна*—вотъ религіозный смыслъ трагедіи, вотъ ея правда, ея проповѣдь: иначе нельзя, иного выхода нѣтъ, *tertium non datur*. Такъ стояло это въ душѣ Достоевскаго, въ которой всегда совершенная вѣра трагически боролась съ совершеннымъ невѣріемъ, то побѣждающая, то побѣждаемая, и эту же трагедію чрезъ свой собственный духъ онъ ощущалъ и въ русской душѣ, и въ духовномъ организмѣ Россіи, въ которой святая Русь борется съ царствомъ карамазовщины. Въ „Бѣсахъ“ еще нѣтъ того раздѣленія свѣта и тьмы, какъ въ „Братяхъ Карамазовыхъ“, гдѣ старикашкѣ Ѳедору Карамазову противостоятъ старецъ Зосима, а Ивану—Алеша, здѣсь одни лишь гадаринскіе бѣсноватые, одинъ мракъ. Зато онъ сгущенъ до послѣдней мучительности, и эта его острота, его невыносимость и дѣлаетъ его предразсвѣтнымъ, не тьмой безразличія и хаоса, но той „снѣжью смертной“, въ которой рождается „свѣтъ велій“. И въ этомъ смыслѣ „Бѣсы“, повторяемъ, есть книга о Христѣ, есть отрицательная мистерія.

Царство свѣта намѣчено здѣсь немногими, хотя и высокохудожественными штрихами, въ образѣ еп. Тихона (однако не включеннаго въ романъ авторомъ) и вѣщей Хромоножки, этого удивительнѣйшаго созданія творчества Достоевскаго. Хромоножка—ясновидящая, она изъ рода сивиллъ, которыя читаютъ въ книгѣ судебъ съ закрытыми глазами. Но и она не принадлежитъ къ положительнымъ героямъ Добра, носителямъ мужественнаго начала религіи, и она тоже мѣдіумъ, хотя по чистотѣ своего сердца и подъ щитомъ своей юродивости, уродства и слабоумія, она недоступна силѣ зло-

бы и открыта добру. Ее охраняетъ отъ злыхъ чаръ покровъ чистой женственности; это не дурная, безплодная, вѣдовская женственность колдуньи, но исполненная воли къ материнству, и въ дѣвственности своей не хотящая безплодія,—отблескъ немеркнущаго свѣта „Дѣвы и Матери“. Она разсказываетъ Шатову про своего, конечно, никогда не существовавшего ребенка, и это не только бредъ, это говоритъ сама рождающая женственность, хочется вѣрить, что этотъ ребенокъ есть, хотя и никогда онъ не рождался. Однако зрячесть Хромоножки сильно напоминаетъ то, что на теософическомъ языкѣ зовется астральнымъ ясновидѣніемъ и существенно отличается отъ религіознаго вдохновенія. Она—сивилла, но не пророчица. Черезъ сны находить она дорогу къ дѣйствительности. „Теперь сны не хороши (жалуется она Ставрогину), а сны не хороши потому, что вы пріѣхали“. Этому излюбленному созданію своей музы, этой возлюбленной дочери Матери Земли, Достоевскій влагааетъ въ уста самыя сокровенныя, самыя значительныя, самыя пророчесвенныя свои мысли. Мало найдется во всей міровой литературѣ огненосныхъ словъ, которыя созвучны были бы этой, неадѣшной музыкой обвѣянной, рѣчи.

„— А, по-моему, говорю, Богъ и природа есть все одно“. Они мнѣ всѣ въ одинъ голосъ: „Вотъ на!“ Игуменья разошлась, зашептала о чемъ-то съ барыней, подозвала меня, приласкала... Ну, а монашекъ сталъ мнѣ тутъ же говорить поученіе, да такъ это ласково и смиренно говорилъ и съ такимъ надо быть умомъ; сижу я и слушаю. „Поняла ли?“ спрашиваетъ. — „Нѣтъ, — говорю, — ничего я не поняла, и оставьте, — говорю, — меня въ полномъ покоѣ“.

...А тѣмъ временемъ и шепни мнѣ, изъ церкви выходя, одна наша старица, на покаяніи у насъ жила за пророчество: „Богородица что есть, какъ мнишь?“ „Великая мать, — отвѣчаю, — упованіе рода человѣческаго“. „Такъ, — говоритъ, Богородица—великая мать сыра земля, и великая въ томъ для человѣка заключается радость. И всякая тоска земная, и всякая слеза земная радость наша есть; а какъ напоишь слезами своими подъ собою землю на поларшина въ глубину, то тотчасъ же о всемъ и возрадуешься. И никакой, никакой, — говоритъ, — горести твоей не будетъ, таково, — говоритъ, — есть пророчество“. Запало мнѣ тогда это слово.